Д. С. Мережковский

Л. Толстой и Достоевский

Москва
«Книга по Требованию»

УДК 93
ББК 63.3
М52

Мережковский Д.С.
М52 Л. Толстой и Достоевский / Д. С. Мережковский – М.: Книга по Требованию, 2021. – 372 с.

ISBN 978-5-517-96985-9

ISBN 978-5-517-96985-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Серия Книжный Ренессанс
www.samizday.ru/reprint

Л. Толстой и Достоевскій

Д. Мережковскаго.

Произошло столкновеніе двухъ самыхъ противоположныхъ идей, которыя только могли существовать на землѣ: Человѣкобогъ встрѣтилъ Богочеловѣка, Аполлонъ Бельведерскій—Христа.

Достоевскій.

ВСТУПЛЕНІЕ.

Поколѣніе русскихъ людей, вступившее въ сознательную жизнь между восьмидесятыми и девяностыми годами XIX столѣтія, находится въ такомъ трудномъ и отвѣтственномъ положеніи относительно будущаго русской культуры, какъ, можетъ быть, ни одно изъ поколѣній со времени Петра Великаго.

Я говорю—со времени Петра, потому что именно отношеніе къ Петру служитъ какъ-бы водораздѣльною чертою двухъ великихъ теченій русскаго историческаго пониманія за послѣдніе два вѣка, хотя въ дѣйствительности раньше Петра и глубже въ исторіи начинается борьба этихъ двухъ теченій, столь поверхностно и несовершенно обо-

значаемыхъ словами „западничество“ и „славянофильство“. Отрицаніе западниками самобытной идеи въ русской культурѣ, желаніе видѣть въ ней только продолженіе или даже только подражаніе европейской, утвержденіе славянофилами этой самобытной идеи и противоположеніе русской культуры западной,—въ такомъ крайнемъ, чистомъ видѣ оба теченія нигдѣ не встрѣчаются, кромѣ отвлеченныхъ умозрѣній. Во всякомъ-же дѣйствіи, научно-историческомъ или художественномъ, они поневолѣ сближаются, соединяются, никогда, впрочемъ, не смѣшиваясь и не сливаясь окончательно. Такъ, у всѣхъ великихъ русскихъ людей, отъ Ломоносова черезъ Пушкина до Тургенева, Гончарова, Л. Толстого и Достоевскаго, несмотря на глубочайшія западныя вліянія, сказывается и самобытная русская идея, правда, съ меньшею степенью ясности и сознательности, чѣмъ идеи общеевропейскія. Въ этомъ недостаткѣ ясности и сознанія до сей поры заключалась главная слабость учителей славянофильства.

Тогда какъ западники могли указать на общеевропейскую культуру и на подвигъ Петра, какъ на опредѣленный и сознательный идеалъ, славянофилы обречены были оставаться въ области романтическихъ смутныхъ сожалѣній о прошломъ, или столь-же романтическихъ и смутныхъ чаяній будущаго, могли указать только на черезчуръ ясныя, но неподвижныя и омертвѣвшія, историческія формы, или на слишкомъ неясныя, безплотныя и туманныя дали, на то, что̀ умерло или на то, что̀ еще не родилось.

Достоевскій почувствовалъ и отмѣтилъ эту болѣзнь славянофильства—недостатокъ ясности и сознанія,—„мечтательный элементъ славянофильства“,—какъ онъ выражается. „Славянофильство до сихъ поръ еще стоитъ на смутномъ и неопредѣленномъ идеалѣ своемъ. Такъ что, во всякомъ случаѣ, западничество все-таки было реальнѣе

славянофильства, и, несмотря на всѣ свои ошибки, оно все-таки дальше ушло, все-таки движеніе осталось на его сторонѣ, тогда какъ славянофильство не двигалось съ мѣста и даже вмѣняло себѣ это въ большую честь".

Западничество казалось Достоевскому реальнѣе славянофильства, потому что первое могло указать на опредѣленное явленіе европейской культуры, тогда какъ второе, несмотря на всѣ свои поиски, не нашло ничего равноцѣннаго, равнозначущаго, и вмѣстѣ съ тѣмъ, столь-же опредѣленнаго и законченнаго въ русской культурѣ.—Такъ думалъ Достоевскій въ 1861 году. Черезъ шестнадцать лѣтъ онъ уже нашелъ—казалось ему—это искомое и не найденное славянофилами, опредѣленное, великое явленіе русской культуры, которое могло быть сознательно, въ совершенной ясности, противопоставлено и указано Европѣ, нашелъ его во всемірномъ значеніи новой, вышедшей изъ Пушкина, русской литературѣ.

„Книга эта—писалъ онъ въ „Дневникѣ" за 1877 годъ, по поводу только что появившейся „Анны Карениной" Л. Толстого,—книга эта прямо приняла въ глазахъ моихъ размѣръ факта, который-бы могъ отвѣчать за насъ Европѣ, того искомаго факта, на который мы могли-бы указать Европѣ. Анна Каренина есть совершенство, какъ художественное произведеніе, съ которымъ ничто подобное изъ европейскихъ литературъ въ настоящую эпоху не можетъ сравниться, а во-вторыхъ, и по идеѣ своей это уже нѣчто наше, наше *свое*, родное, и именно то самое, что составляетъ нашу особенность передъ европейскимъ міромъ.—Если у насъ есть литературныя произведенія такой силы мысли и исполненія, то почему намъ отказываетъ Европа въ самостоятельности, въ нашемъ *своемъ собственномъ* словѣ, — вотъ вопросъ, который рождается самъ собою".

Въ то время слова эти могли казаться дерзкими и самонадѣянными,—теперь они кажутся намъ почти робкими, во всякомъ случаѣ, недостаточно ясными и опредѣленными. Достоевскій указалъ въ нихъ только на малую часть того всемірнаго значенія, которое открывается намъ все съ большею и большею ясностью въ русской литературѣ. Для этого надо было видѣть, какъ видѣли мы, не только законченный ростъ художественнаго творчества, но и все трагическое развитіе нравственной и религіозной личности Л. Толстого, надо было понять глубочайшее согласіе и глубочайшую противоположность Л. Толстого Достоевскому въ ихъ общей преемственности отъ Пушкина. Это уже дѣйствительно, — какъ выражается Достоевскій, — „фактъ особаго значенія", уже почти сознанное, хотя еще не сказанное, уже опредѣленное, въ плоть и кровь облеченное явленіе русской и въ то-же время всемірной культуры. Только самые чуткіе люди въ Западной Европѣ — Ренанъ, Флоберъ, Нитче — если не разгадали, то, по крайней мѣрѣ, предчувствовали смыслъ этого явленія. Но и до сей поры, несмотря на русскую моду въ Европѣ послѣднихъ десятилѣтій, отношеніе большей части европейской критики къ русской литературѣ остается случайнымъ и поверхностнымъ. И до сей поры не подозрѣваетъ она дѣйствительныхъ размѣровъ ея всемірнаго значенія, уже видимыхъ намъ, русскимъ, для которыхъ открытъ первоисточникъ русской поэзіи—Пушкинъ, все еще недоступный для чужого взгляда. И намъ уже нѣтъ возврата ни къ западникамъ, отрицающимъ самобытную идею русской культуры, ни, тѣмъ болѣе, къ славянофиламъ, не потому, чтобы ихъ проповѣдь казалась намъ слишкомъ смѣлою и гордою,—можетъ быть наша вѣра въ будущность Россіи еще дерзновеннѣе, еще самовластнѣе,—а лишь потому, что эти книжные мечта-

тели и умозрители сороковыхъ годовъ кажутся намъ слишкомъ покорными и боязливыми учениками нѣмецкой метафизики, переряженными германофилами, простодушными гегеліанцами. И если пророчество Достоевскаго: „Россія скажетъ величайшее слово всему міру, которое тотъ когда-либо слышалъ"—оказалось преждевременнымъ, то лишь потому, что самъ онъ не договорилъ этого слова до конца, не довелъ своего сознанія до послѣдней степени возможной ясности, испугался послѣдняго вывода изъ собственныхъ мыслей, сломилъ ихъ остріе, притупилъ ихъ жало,—дойдя до края бездны, отвернулся отъ нея и, чтобы не упасть, снова ухватился за неподвижныя, окаменѣлыя историческія формы славянофильства, — тѣ самыя, для разрушенія которыхъ онъ, можетъ быть, сдѣлалъ больше, чѣмъ кто-либо.—Нужна, въ самомъ дѣлѣ, великая ясность и трезвость ума, чтобы безъ головокруженія, безъ опьянѣнія народнымъ тщеславіемъ, признать всемірность идеи, открывающейся въ русской литературѣ. Можетъ быть, для нашего слабаго и болѣзненнаго поколѣнія въ этомъ признаніи—больше страшнаго, чѣмъ соблазнительнаго,—я разумѣю страшную, почти невыносимую тяжесть отвѣтственности.

Но, несмотря на то или, вѣрнѣе, благодаря тому, что мы признали самобытную русскую идею, мы уже не можемъ, — чего-бы это ни стоило, и какія-бы роковыя противорѣчія ни грозили намъ,—высокомѣрно отворачиваться отъ западной культуры или малодушно закрывать на нее глаза, подобно славянофиламъ. Не можемъ забыть, что именно Достоевскій, и какъ разъ въ то время, когда онъ былъ или, во всякомъ случаѣ, считалъ себя самымъ крайнимъ славянофиломъ, съ такою силою и опредѣленностью высказалъ нашу русскую любовь къ Европѣ, нашу русскую тоску по родному Западу, какъ ни одинъ изъ

нашихъ западниковъ: „у насъ, русскихъ,—говоритъ онъ,—двѣ родины: наша Русь и Европа".—„Европа—но вѣдь это страшная и святая вещь! О, знаете-ли вы, господа, какъ намъ дорога, намъ, мечтателямъ-славянофиламъ, эта самая Европа, эта „страна святыхъ чудесъ!"—„Знаете ли, до какихъ слезъ и сжатій сердца мучаютъ и волнуютъ насъ судьбы этой дорогой и *родной* намъ страны, какъ пугаютъ насъ эти мрачныя тучи, все болѣе и болѣе заволакивающія ея небосклонъ? Русскому Европа такъ-же драгоцѣнна, какъ Россія. О, болѣе! Нельзя болѣе любить Россію, чѣмъ люблю ее я, но я никогда не упрекалъ себя за то, что Венеція, Римъ, Парижъ, сокровища ихъ наукъ, вся исторія ихъ—мнѣ милѣй, чѣмъ Россія. О, русскимъ дороги эти старые чужіе камни, эти чудеса стараго Божьяго міра, эти осколки святыхъ чудесъ; и даже это намъ дороже, чѣмъ имъ самимъ!"—„Я хочу въ Европу съѣздить, Алеша,—говоритъ Иванъ Карамазовъ,—и вѣдь я знаю, что я поѣду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вотъ что! Дорогіе тамъ лежатъ покойники, каждый камень надъ ними гласитъ о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вѣрѣ въ свой подвигъ, въ свою истину, въ свою борьбу и въ свою науку, что я, знаю заранѣе, паду на землю и буду цѣловать эти камни и плакать надъ ними,—въ то-же время убѣжденный всѣмъ сердцемъ моимъ, что все это давно уже кладбище и никакъ не болѣе!"

Неужели—только кладбище? Но вѣдь Европа для русскихъ—онъ это самъ сказалъ—вторая родина. А развѣ можетъ быть родиной живого народа кладбище?—Нѣтъ, какъ ни страстно и ни сильно выражалъ онъ это чувство, все-таки не договорилъ онъ послѣдняго слова о нашей русской тоскѣ по европейской родинѣ такъ-же, какъ не договорилъ и своей вѣры въ будущность Россіи. И пусть

Европа—кладбище. Мы теперь уже знаемъ, что на этомъ кладбищѣ погребены не только люди, герои, но и боги. А у боговъ есть такое свойство, что и въ гробахъ они сохраняютъ безсмертіе, такъ что, сколько ни погребай ихъ, никогда нельзя быть увѣреннымъ, что они дѣйствительно умерли. Можетъ быть, они только притворились мертвыми и спятъ, ожидая Возрожденія, какъ сѣмена ожидаютъ весны. Не въ самую-ли глухую полночь среднихъ вѣковъ, не самымъ-ли благочестивымъ христіанскимъ подвижникамъ являлись они въ видѣ страшныхъ и соблазнительныхъ демоновъ? Когда-же боги воскресаютъ и выходятъ изъ своихъ могилъ, то „старые камни" соединяются въ новые храмы, „осколки святыхъ чудесъ"—въ новыя, живыя чудеса.

Еще недавно мы присутствовали при такомъ воскресеніи двухъ олимпійскихъ боговъ—Аполлона и Діониса, на старомъ европейскомъ кладбищѣ, въ юношеской и столь весенней книгѣ Фридриха Нитче — *Рожденіе Трагедіи*. И для насъ, русскихъ, это явленіе новаго Аполлона и Діониса было тѣмъ болѣе знаменательно, что оно напомнило намъ видѣніе отрока Пушкина, который изъ школы христіанской наставницы, съ очами „свѣтлыми, какъ небеса", со словами „ полными святыни", убѣгалъ „въ великолѣпный мракъ *чужого* сада",—къ языческимъ идоламъ:

Межъ ними два чудесныя творенья
Влекли меня волшебною красой.
То были двухъ *бѣсовъ* изображенья:
Одинъ—Дельфійскій идолъ—ликъ младой
Былъ гнѣвенъ, полонъ гордости ужасной,
И весь дышалъ онъ силой неземной;
Другой—женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеалъ,
Волшебный демонъ, лживый, но прекрасный.

Мы также присутствовали при соединеніи этихъ двухъ противоположныхъ демоновъ или боговъ въ еще болѣе необычайномъ и таинственномъ явленіи Заратустры. И не могли мы не узнать въ немъ Того, Кто всю жизнь преслѣдовалъ и мучилъ Достоевскаго, не могли не узнать Человѣкобога въ Сверхчеловѣкѣ. И чудеснымъ, почти невѣроятнымъ, было для насъ это совпаденіе самаго новаго, крайняго изъ крайнихъ европейцевъ и самаго русскаго изъ русскихъ. Ни о какомъ вліяніи или заимствованіи тутъ и рѣчи быть не можетъ. Съ двухъ разныхъ, противоположныхъ сторонъ подошли они къ одной и той-же безднѣ. Сверхчеловѣкъ—это послѣдняя точка, самая острая вершина великаго горнаго кряжа европейской философіи, съ ея вѣковыми корнями возмутившейся, уединенной и обособленной личности. Дальше некуда идти: историческій путь пройденъ; дальше—обрывъ и бездна, паденіе или полетъ,—путь сверхъ-историческій, религія.

Особый поразительный смыслъ имѣетъ для насъ, русскихъ, явленіе Заратустры и потому, что мы принадлежимъ къ народу, который далъ міру, можетъ быть, единственное, величайшее во всей новой европейской исторіи воплощеніе сверхчеловѣческой воли—въ Петрѣ. Религіозная часть русскаго народа сложила странную и донынѣ мало изслѣдованную легенду о Петрѣ, какъ объ Антихристѣ, объ апокалиптическомъ „Звѣрѣ, вышедшемъ изъ бездны". И тотъ изъ русскихъ людей, кто по духу былъ ближе всѣхъ къ Петру, кто понялъ его глубже всѣхъ, русскій пѣвецъ Аполлона и Діониса,—Пушкинъ, не обратился-ли къ нему-же съ этимъ вопросомъ, полнымъ столь знакомаго намъ, вѣщаго ужаса:

О, мощный властелинъ судьбы,
Не такъ-ли ты уздой желѣзной

На высотѣ, надъ самой бездной
Россію вздернулъ на дыбы?

„Петровская реформа,—говоритъ Достоевскій,—продолжавшаяся вплоть до нашего времени, дошла наконецъ до послѣднихъ своихъ предѣловъ. Дальше нельзя идти, да и некуда: нѣтъ дороги, *она вся пройдена*". И въ другомъ мѣстѣ—въ одномъ изъ своихъ предсмертныхъ писемъ: „вся Россія стоитъ на какой-то окончательной точкѣ, колеблясь надъ бездною". Не та-же ли это бездна, о которой говоритъ Пушкинъ,—надъ которой Мѣдный Всадникъ на своей обледенѣлой глыбѣ гранита вздернулъ Россію на дыбы желѣзною уздой?—Такого страшнаго ощущенія этой бездны, какъ у нашего поколѣнія, не было ни у одного изъ поколѣній со времени Петра. На Западѣ, то-есть въ Европѣ—„духъ ратный", на Востокѣ, то-есть въ Россіи — „духъ благодатный", — какъ утверждали въ Космографіяхъ московскіе книжники XVII вѣка, или, говоря языкомъ Достоевскаго — Человѣкобогъ и Богочеловѣкъ, Христосъ и Антихристъ—вотъ два противоположные берега, два края этой бездны. И горе наше или счастье въ томъ, что у насъ дѣйствительно „двѣ родины—наша Русь и Европа", и мы не можемъ отречься ни отъ одной изъ нихъ,—мы должны или погибнуть, или соединить въ себѣ оба края бездны.

Достоевскій правъ: и съ той, и съ другой стороны, и съ Восточной, и съ Западной, вся дорога пройдена, историческій путь конченъ,—дальше идти некуда; но мы знаемъ, что когда кончается исторія, начинается религія. У самаго края бездны необходимо и естественно является мысль о крыльяхъ, о полетѣ, о *сверхъ-историческомъ* пути—о религіи. Нитче, боровшійся во имя Человѣкобога съ Богочеловѣкомъ, побѣдилъ-ли Его? Достоевскій, боровшійся во имя Богочеловѣка съ Человѣкобогомъ, побѣдилъ-ли

Его?—вотъ вопросъ, отъ котораго зависитъ все будущее не только русской, но и всемірной культуры.

Когда нѣсколько лѣтъ назадъ, въ статьѣ о Пушкинѣ, я высказалъ мысль, что главная особенность его сравнительно съ другими великими европейскими поэтами заключается въ разрѣшеніи всемірныхъ противорѣчій, въ соединеніи двухъ началъ, языческаго и христіанскаго, въ еще небывалую гармонію,—меня обвинили въ томъ, что я приписываю Пушкину мои собственныя, будто-бы „нитчеанскія“ мысли хотя, кажется, никакая мысль не можетъ быть противоположнѣе, враждебнѣе послѣднимъ выводамъ нитчеанства, чѣмъ именно эта мысль о соединеніи *двухъ* началъ. Больше, чѣмъ кто-либо, я чувствую, какъ недостаточны и несовершенны были слова мои, но все-таки я не могу отъ нихъ отречься.

Мои судьи, если-бы они желали быть послѣдовательны, должны-бы обвинить и Достоевскаго въ томъ, что онъ приписывалъ Пушкину свои собственныя мысли. „Именно теперь въ Европѣ,—говоритъ Достоевскій,—все поднялось одновременно, всѣ міровые вопросы разомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всѣ *міровыя противорѣчія*“. И въ заключительныхъ словахъ своей Пушкинской рѣчи, говоря о самой сущности міросозерцанія Пушкина, какъ „непонятаго предвозвѣстителя будущей русской культуры“, онъ еще разъ возвращается къ этимъ противорѣчіямъ:

„Впослѣдствіи, я вѣрю въ это, мы, то-есть, конечно, не мы, а будущіе, грядущіе русскіе люди, поймутъ уже всѣ до единаго, что стать настоящимъ русскимъ и будетъ именно значить: стремиться внести примиреніе въ европейскія противорѣчія“. Что-же это за противорѣчія? Не тѣ-ли самыя, которыми онъ только и мучился всю жизнь, о которыхъ онъ только и думалъ, и которыя въ одномъ изъ своихъ предсмертныхъ дневниковъ онъ высказалъ съ